

ВОЕННОПЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ: УЕХАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ

Военный плен традиционно был одним из факторов, способствовавших этнокультурному разнообразию и без того неоднородного населения России. Первая мировая война не стала исключением из этого правила. Статистика оставшихся по ее завершению в России немцев, чехов, поляков, венгров, румын и т.д., и т.п. не поддается точной оценке, что, впрочем, не мешает задаться вопросом, почему часть пленников Великой европейской войны все-таки предпочла остаться в изначально чужой для них стране, тогда как другие спешили на родину? Какие личные и надличностные мотивы повлияли на выбор тех и других, и связан ли он был с особенностями российского этнокультурного ландшафта? Имели ли при этом значение возрастной, образовательный, профессиональный и любой другой «капиталы» военнопленных, объединяемые понятием социокультурного опыта?

Очевидно, что выброшенные пленом на обочину или и вовсе за пределы привычных сетей социокультурного взаимодействия пленные тут же вовлекались в альтернативные сети такового. Помешать этому не могло даже то, что «регулярным» провинциальным обществом пленники трактовались как внешнее по отношению к нему образование, как своеобразная группа эксклюзии, являвшаяся символом неопределенности, лиминальности, — «зависания» человека между состояниями «уже не...» и «еще не...». Мысленное обобществление и геттоизация военнопленных противника позволяли членам принимающего коллектива поддерживать иллюзию понятности пленников и прозрачности их статуса, что, в свою очередь, обеспечивало видимость стабильности и управляемости происходящего в пространстве плена.

Однако за этой иллюзией принимающее сообщество упустило из виду тот факт, что в условиях, когда военнопленные так до конца и не стали принадлежностью новой для них среды, эта среда, постепенно обживавшаяся неприятельскими военнослужащими, стала принадлежать им. В полной мере это отразило быстрое овладение военнопленными вербальными знаками, среди которых в силу закона экономии речевых усилий были выбраны наиболее «универсальные». Так, пленный Иван Магич, работавший в августе 1915 г. вместе с другими военнопленными на Невьянском заводе, при разговоре со зрителем завода Гендриковым позволил себе выразить по-русски⁴⁰¹

Даже колониальный дискурс, зачастую сквозивший в высказываниях пленных иностранцев о «некультурной» России и её «некультурных» же обитателях, превратился в инструмент освоения и присвоения среды, используя там, где другие инструменты не работали. «Рискую послать это письмо, получение которого зависит от любезности цензора. Я здоров благодаря моему телосложению. Охотнее был бы у вас на поле сражения, однако должен находиться в рабстве некультурного му-

⁴⁰¹ ГАПК. Ф. 65. Оп. 3. Д. 593. Л. 87.

жика. Три раза в день кислое молоко, понятно, без рома. Хлеб белый, но полудикие бабы не умеют его испечь, так что после трех часов в поле [он] совершенно черствый, кроме того, завертывается во вшивые тряпки. К счастью, в госпитале купил себе миску и ложку, а то пришлось бы с этими свиньями есть из одной чашки. Мой сарай состоит из дерева и соломы. Воду нельзя пить. Сами крестьяне люди сносные, но грязны как свиньи. Живут здесь, как скотина в хлевах, без часов, календаря и т.д.», — живописал один из немцев свою жизнь в российском плену, показывая при этом, что чужеродная среда со временем вполне осваивается, даже если её составляющие и не вызывают одобрения⁴⁰².

Сознательно или нет, но военнопленные сами оставили немало свидетельств такового освоения, запечатлев свою востребованность в новой для них среде. Так, в конце 1916 г. пленный Иосиф Шафранек общал родным: «В русском плену я с 10 сентября 1916 г. Нахожусь в Сибири и работаю по деревням как портной. Хорошо зарабатываю и живется мне здесь так хорошо, как нельзя было и предполагать. За это время я прошел 42 деревни. Портной здесь один на 200 деревень, как и другие ремесленники»⁴⁰³. Очевидно, таким образом, что при ориентировании пленников в незнакомом социальном пространстве важнейшую роль играла их социальная «память».

Не случайно многие обезоруженные вражеские военнослужащие быстро «вспомнили» о том, что в недавнем довоенном прошлом они были обычными крестьянами, рабочими или ремесленниками. «На работах чувствовали мы себя свободными гражданами, а теперь с понурой головой пойдем в лагерь невольников», — жаловались пленные в своих письмах на родину⁴⁰⁴, обнаруживая тот факт, что труд, даже самый тяжелый, стал для них благом, компенсировавшим их социальную ущербность. Источники свидетельствуют, что к середине 1921 г. из пребывавших в Ирбитском уезде Екатеринбургской губернии 481 пленника только 7 не смогли реализовать свой социо-профессиональный капитал, уже имевшийся или приобретенный в годы плена⁴⁰⁵. «Коренным большинством» такой поворот в социализации «чужаков» воспринимался относительно спокойно, поскольку также означал возвращение к нормальности, к восстановлению привычного, но утраченного системой социальных таксономий баланса или, по крайней мере, создание его видимости.

Как возвращение к привычным же отношениям полов должно расценивать порицавшиеся обществом, но при этом стремительно распространявшиеся в нём интимные связи между пленными иностранцами и россиянками. «В деревне дёгтя не хватает, весь пошел на баб — мажут им ворота»; «Теперь за мужей пошли в моду австрийцы»; «Наши дамы не только мужественны, но и многомужественны» — шутили современники⁴⁰⁶, ставшие свидетелями девальвации официальной морали. Но нравилось им это или нет, означенный процесс был по-своему законо-

⁴⁰² ГАТ. Ф. и-152. Оп. 27. Д. 191. Л. 260.

⁴⁰³ Там же. Л. 318.

⁴⁰⁴ Там же. Л. 268.

⁴⁰⁵ ГАСО. Ф. р-1646. Оп. 1. Д. 31. Л. 9.

⁴⁰⁶ ГАТ. Ф. и-152. Оп. 27. Д. 191. Л. 273, 350 и др.

мерен. Оказавшись в плену и тем самым потерпев личное поражение в войне, вражеские солдаты и офицеры лишались части своего символического капитала, запрограммированного их принадлежностью к «сильному» полу, и согласиться с этим были готовы далеко не все из них⁴⁰⁷. Тожественная в рамках общественного дискурса сила, победа и власти «мужчинность», утраченная пленниками, с возложением на них миссии по поддержке хозяйств осиротевших солдатских семей, — а за ними и сельского хозяйства и промышленности вообще, — частично компенсировалась. «Живу у солдатки, заменяю хозяина, работаю как дома, но с той разницей, что там я повелевал, а здесь мне приказывают», — фиксировал один из пленников свои компенсаторные устремления, в то время как другой обрисовывал перспективу их реализации: «... Состою старшим рабочим в станции, предполагаю вскоре здесь жениться»⁴⁰⁸.

В свою очередь пленный Имре Беретваш, ходатайствуя о советском гражданстве в 1926 г., писал о настоящей перспективе как об уже реализованной: «В деревню Мишагину я приехал в 1919 г., 8 июня, как военнопленный, ... на полевые работы ... Нас приезжало четыре человека, я ... оставался работать у гражданина Мишагина Василия Григорьевича, но, побыв у него один месяц, перешел к гражданке Мишагиной Агафье Игнатьевне, у которой в то время мужа не было, потому я начал работать у нее в хозяйстве и до настоящего времени нахожусь у ней, потому как ее муж со службы не вернулся, и я с ней живу как с женой уже восьмой год...»⁴⁰⁹.

Масса источников подтверждает, что именно профессиональная востребованность и обретение семьи стали главными причинами, заставлявшими пленных иностранцев оставаться в России. Этнокофессиональный фактор при этом был не столь важен, лишний раз подтверждая, что сложносоставные идентичности людей, равно как и подвижность всевозможных границ являлись атрибутивно значимыми компонентами общественных организмов эпохи «модернити». Остается только пожалеть, что развитию российского общества в этом направлении помешали приоритеты советского государственного строительства, издержки которого привели многих оставшихся в СССР военнопленных Первой мировой войны в сталинские тюрьмы и лагеря⁴¹⁰.

⁴⁰⁷ О процессах демаскулинизации и сопутствующем им развитии гомосексуальных отношений в плену см.: Rachamimov A. The Disruptive Comforts of Drag: (Trans)Gender Performances among Prisoners of War in Russia, 1914–1920 // *The American Historical Review*. Vol. 111. № 2 (April, 2006). P. 362–382.

⁴⁰⁸ ГАТ. Ф. и-152. Оп. 27. Д. 191. Л. 216, 225.

⁴⁰⁹ ГАШ. Ф. Р-257. Оп. 2. Д. 104. Л. 7, 14.

⁴¹⁰ См. об этом: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 21345, 25299, 29935, 36102, 37713 и мн. др.